



Мусе
Джалилю –
100

1906–1944

Рафизь Мустафин

Порой душа
бывает так
тверда...

Допросы кончились, и наконец Мусу оставили в покое. В степени приговора он не сомневался. Следовательно прямо сказал ему, что даже за одну десятую его «преступных действий против великого рейха» полагается гильотина. Самое лучшее, на что он может надеяться, – расстрел.

Сколько остается еще жить? Месяц, два? А может, завтра утром раздастся стук кованых сапог, с лязгом раскроются железные двери и их поведут на казнь...

Ныло избитое на допросах тело, не слушались пальцы (гестаповец несколько раз прошелся по ним каблуками сапог). Левая рука, перебитая еще при первой встрече со следователем в Варшавской тюрьме, неправильно срослась. Стоило, забывшись, неловко пошевелить ею, как в голову и в плечо стреляла острая боль. Гестаповские палачи не зря считались мастерами своего дела. Железными прутьями, просунутыми в резиновые шланги, они отбили ему почки. И теперь он чувствовал невыносимую боль в пояснице, а лицо по утрам отекало, как при водянке.

Недели три назад в камере появился новый заключенный – бельгиец Андре Тиммерманс. Сначала Муса отнесся к нему подозрительно – не провокатор ли? Но вскоре убедился, что это честный, открытый и простой парень. У бельгийца оказался осколок зеркала. Впервые за много месяцев Муса увидел свое отражение и даже отшатнулся. На него смотрело землисто-серое лицо с глубокими морщинами у рта и отечными меш-

ками под глазами. Кто бы сказал, что ему тридцать восемь? Выглядел он на все пятьдесят.

А тут еще изнурительный кашель... Видимо, легкие не в порядке. Впрочем, какое это теперь имеет значение?

Как раздобыть хоть немного бумаги – вот что беспокоило его больше всего. Тиммерманс подарил ему несколько листов почтовой бумаги: бельгийцам разрешали писать письма домой и раз в две недели продавали по двойному листу бумаги в тюремной лавочке. Несколько обрывков оберточной бумаги принес третий сосед, поляк Ян Котцур, работавший на кухне. Из этой бумаги Муса сшил себе маленький блокнот.

Сейчас все мысли, чувства и стремления Мусы сводились к одному – писать. Он сам удивлялся своему состоянию. Когда-то, в далекой юности, работая над поэмой «Больной комсомолец», Муса пытался представить себе состояние человека, обреченного на смерть. Что он чувствует? Ужас? Отчаяние? Животный страх? Или гордое презрение к смерти? Поэма получилась несколько риторичной, хотя молодежь восторженно принимала ее.

Это было двадцать лет назад... Тогда Муса ходил в кожаной куртке, из-под которой выглядывала сатиновая косоворотка, в стоптанных ботинках, вокруг шеи – неизменный шерстяной шарф. Вот он легкой поступью поднимается на сцену. Волнуясь, оглядывает зал. Молодые безусые лица, вылинявшие гимнастерки, фуфайки, косоворотки, красные ситцевые косынки. Подчеркивая ритм энергичными взмахами руки с зажатой в ней ко-

Рафаэль Ахметович Мустафин (1931) – писатель, литературный критик, вице-президент Татарского ПЕН-центра, лауреат премии Республики Татарстан им. М.Джалиля (1976) и Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая (2006)

жаной кепкой, он читает стихи, чувствуя, как притихший зал покорно отдается поэзии.

Чаще всего он читал поэму «Больной комсомолец». Главный ее герой, революционер-подпольщик, свидетель Ленских событий и участник борьбы с Юденичем, умирает от чахотки. Подвалы царских тюрем подорвали его здоровье, белогвардейская пуля прострелила легкое... Жить ему осталось считанные дни. Но он думает не о смерти, а о мировой революции, о том, чтобы дать свободу рабочим Берлина, Познани и Парижа, вырвать братьев по классу из-под гнета капитала...

Далекая наивная молодость... Почему именно цветущей юности свойственно размышлять о смерти?

Действительность оказалась суровее и проще.

Да, был и страх перед смертью, и неотвязная тоска по воле, по родным, и страстное желание жить. Но первое чувство, которое он ощутил, когда закончилось следствие, — это огромное облегчение. И не только потому, что прекратились допросы и пытки. Те несколько месяцев, когда он по решению подпольного комитета вынужден был делать вид, что сотрудничает с гитлеровцами, были самым тяжелым периодом в его жизни. Приходилось заставлять себя любезно улыбаться и казаться предельно лояльным и с командиром легиона Зиккендорфом, и со всяким эмигрантским отребьем. Пришлось — этого требовали условия конспирации — стать своим человеком в доме политического спекулянта Шафи Алмаса. Когда Шафи Алмас принимался поносить СССР, нужно было соглашаться, хотя руки так и чесались двинуть ему по красной физиономии. Приходилось гасить горящий ненавистью взгляд, поддерживать разговор о «крови Чингисхана и Батыя», вести двойную игру, а это для такого открытого и прямодушного человека, как Муса, было хуже всего.

Но еще труднее было чувствовать сверлящие, нескрываемо враждебные взгляды своих же товарищей — военно-

ленных. Не подойдешь ведь и не объяснишь каждому, что ты был и остаешься частным человеком и думаешь только об одном: как бы вызволить их из фашистской неволи.

Что смерть! К мысли о ней Муса успел привыкнуть еще в волховских болотах. Куда страшнее было клеймо предателя.

Здесь же, в тюрьме, все стало на свои места. С одной стороны — фашистские палачи с камерами пыток, тюрьмами, виселицами. С другой — они, горстка военнопленных, заброшенных судьбой в фашистское логово. Не надо больше фальшиво улыбаться, кривить душой... Муса знал, что товарищи верят ему, уважают, нуждаются в нем. При каждой встрече в коридоре, во время прогулок или на очных ставках у следователя Муса старался взглядом или незаметным кивком подбодрить товарищей».

Джалиль считал, что ему легче, чем многим, — ведь с ним оставалась его поэзия, высокая, ни с чем не сравнимая радость творчества. Можно сказать, что ему повезло. Тюремщиками в Моабите работали старики непризывных возрастов: всех, кто помоложе, отправили на фронт. Они не очень усердствовали и, если заключенный не нарушал внутреннего распорядка, оставляли его в покое. Один из надзирателей, длинный, худой, с кроличьими глазами, вроде как бы даже чуточку заискивал перед Мусой. На днях, подойдя к окошечку и боязливо оглянувшись по сторонам, он предупредил Мусу, что вечером, возможно, будет обыск.

И верно: среди ночи в камере вспыхнул свет, их — троих узников — поставили вдоль стены и тщательно перетряхнули все, что было в камере. Но Муса успел надежно припрятать блокнот.

С появлением Тиммерманса в камеру стали давать фашистскую газету «Фолькишер беобахтер». Ее полагалось вернуть обратно — за этим следили строго. Но никто из надзирателей не обращал внимания на то, что довольно широкие поля газеты становились при этом чуть уже. Муса аккуратно отрезал длин-

ные полоски бумаги и использовал их в качестве черновиков.

Сколько строк, образов, невысказанных мыслей и замыслов теснилось в его голове! Кто бы поверил, что именно сейчас, когда жить осталось считанные недели, а может, и дни, он переживал небывалый творческий подъем.

Порой душа бывает так тверда,
Что поразить ее ничто не может.
Пусть ветер смерти холоднее льда,
Он лепестков души не потревожит.
Улыбкой гордою опять сияет взгляд,
И, суету мирскую забывая,
Я вновь хочу, не ведая преград,
Писать, писать, писать не уставая.
Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач и вырыта могила,
Я ко всему готов. Но мне еще нужны
Бумага белая и черные чернила!

(Пер. С. Маршак)

Муса сознавал, что так, как сейчас, он еще никогда не писал. Пройдя более чем двадцатилетний творческий путь, словно только в тюрьме он понял, наконец, как надо писать. Многое из того, что было написано до войны, казалось ему теперь слабым, растянутым. Сейчас он написал бы иначе. Он спешил, но эта спешка не изнуряла, а, наоборот, придавала новые силы. Даже мысль о скорой и неизбежной смерти не мешала, а только подхлестывала его. Надо было спешить, чтобы оставить обдуманное и накопленное людям, а не унести с собой в могилу.

Однообразие несколько нарушилось, когда Мусой овладела идея поговорить с друзьями. Они сидели в соседних камерах. С одной стороны – Абдулла Алиш, с другой – Фуат Булатов. С ними были бельгийцы, знакомые Тиммерманса. Муса и Андре не раз совещались, как продырявить стенку. Наконец придумали.

Заключенным иногда давали какую-нибудь работу – немцы из всего стремились извлечь выгоду. Муса и Андре тоже попросили работу, надеясь, что им дадут какой-нибудь режущий инструмент. Им поручили выделывать узкие продолговатые пазы на круглых деревян-

ных крышках (назначение этих крышек так и осталось для них загадкой). Выдали и инструменты, в том числе длинную стальную стамеску. Этой стамеской они и принялись ковырять стену.

Начали с той, за которой сидел Булатов. Возле стены стояла параша на трех деревянных ножках. Одна из ножек вплотную подошла к стене и закрывала часть ее. В этом месте они и начали ковырять стамеской. Им повезло: с самого начала стамеска попала в щель между кирпичами. Долбить приходилось осторожно, вечерами, когда в коридоре оставались только дежурные надзиратели. Выходя на прогулку, они выносили в карманах по горстке щебня и незаметно высыпали на дорожку. Стена была толщиной в полметра, и на то, чтобы просверлить ее, потребовалось немало дней. Зато сколько радости было, когда они наконец пробili стенку насквозь! С этого дня Муса часами разговаривал с Булатовым, а Андре – со своим другом бельгийцем.

Вскоре Муса с Андре начали долбить и другую стенку, за которой сидел Абдулла Алиш. Но довести до конца эту работу им не удалось. Стена была крепкая, сил – мало, и к тому же ковырять приходилось за батареей, чтобы не заметили надзиратели.

Однажды Мусу вызвали к следователю. Вернувшись, он рассказал Андре, что скоро их повезут на суд в Дрезден. Через несколько дней за Мусой пришли стражники, велели забрать личные вещи. Расставаясь, Муса невесело пошутил:

– Я вернусь, но с головой под мышкой...

* * *

Самоотверженный поединок Джалиля с фашистскими палачами сродни подвигу национального героя Чехословакии Юлиуса Фучика. Подобно Фучику, татарский поэт, подвергаемый пыткам и истязаниям, не покоровшийся страху «сорока смертей», вел свой репортаж «под топором палача».

Моабитские тетради – лирический дневник, запечатлевший живую непосредственность переживаний поэта-узника. В них есть и тяжесть неволи, и жгучая тоска по свободе, и боль любящего и страдающего сердца. Война уготовила Джалилю тяжелейшие испытания, выдвинула его на передний край борьбы. И на этом передовом рубеже поэт не согнулся, не растерялся. Напротив, он смог до конца раскрыть все богатство своего духовного облика. Моабитскими тетрадями Джалиль как бы отлил вечный памятник человеку, историей призванному спасти мир от черной свастики.

В заточении поэт создает самые глубокие по мысли и наиболее художественно совершенные произведения. «Мои песни», «Не верь», «Палачу», «Мой подарок», «В стране Алман», «О героизме» и целый ряд других стихотворений можно назвать подлинными шедеврами. Вынужденный экономить каждый клочок бумаги, поэт записывал в Моабитские тетради только то, что до конца выношено, выстрадано. Отсюда необычайная емкость его стихов, их предельная выразительность. Многие строки звучат афоризмами:

Бой отваги требует, джигит,
В бой с надеждою идет, кто храбр.
С мужеством свобода что гранит,
Кто не знает мужества – тот раб.
Если жизнь проходит без следа,
В низости, в неволе, что за честь?
Лишь в свободе жизни красота!
Лишь в отважном сердце вечность есть!

(Пер. А. Шпурта)

По многим стихам моабитского цикла видно, как нелегко приходилось Джалилю. Тоска и отчаяние тяжелым комом застревали в горле. Надо знать жизнелюбие Мусы, его общительность, привязанность к друзьям, жене, дочурке Чулпан, его любовь к людям, чтобы понять всю тяжесть его вынужденного одиночества. Не физические страдания, даже не близость смерти большей всего угнетали Джалиля, а разлука с Родиной, с близкими, смерть на чужбине. Он не был уверен в том, что Родина узнает

правду о мотивах его поступков, не знал, вырвутся ли на волю его стихи. А вдруг фашистам удастся оболгать его, и на родине о нем будут думать как о предателе?

Однако, когда читаешь даже самые мрачные, безысходные строки Джалиля, в душе не остается тяжелого чувства. Наоборот, чувствуешь гордость за человека, за величие и благородство его души. Человек, который так любит свою Родину, свой народ, так привязан к ним тысячами живых нитей, не может исчезнуть бесследно, ибо он существует не только в себе, для себя, но и в сердцах, помыслах, памяти многих людей.

До последних дней Джалиль не потерял замечательных черт своего характера – юмора и жизнелюбия, насколько это было возможно в тех нечеловеческих условиях.

Однажды во время воздушного налета во двор Моабитской тюрьмы упала зажигательная бомба. Яркий свет озарил окна. Муса принялся стучать кулаками в железную дверь камеры, а когда прибежал надзиратель, спросил:

– Что, разве в Германии отменено затемнение? Почему так светло?

В Тегельской тюрьме Джалилю сковали руки и ноги. Он мог передвигаться только мелкими шагами, вытянув вперед онемевшие руки. Глаза его глубоко ввалились, на бледных щеках выступил нездоровый румянец.

И все же, когда однажды его куда-то повели до длинному тюремному коридору, один из узников, узнав его, окликнул: «Как дела, Муса?» – тот ответил: «Во всяком случае, лучше, чем у Гитлера».

Стоит ли после этого удивляться, что в Моабитских тетрадях встречаются такие остроумные, брызжущие юмором стихотворения, как «Звонок», «Хадича», «Простуженная любовь», «Влюбленный и корова».

Эти стихи – свидетельство огромной силы духа и душевного здоровья Мусы, его непоказного спокойного мужества.

Муса Джалиль всегда с большим уважением относился к свободолюбиво-

му немецкому народу, к его передовой культуре. И потому он не может без боли и гнева писать о Германии фашистской:

И это страна великого Маркса?!
 Это бурного Шиллера дом?!
 Это сюда меня под конвоем
 Пригнал фашист и назвал рабом?!
 ...Здесь черная пыль заслоняет солнце,
 И я узнал подземную дверь.
 Замки подвала, шаги охраны...
 Здесь Тельман томился. Здесь я теперь.

(Пер. И. Френкеля)

келя)

Но поэт и во мраке фашистской ночи не терял веры в Германию добра и разума.

«Какая трагедия и позор, что люди, убившие поэта, человека, который, как истинный друг, любил немцев – Гёте и Гейне, Баха и Бетховена, Маркса и Тельмана, – были немцы. Этим они нанесли ущерб чести своей нации», – с горечью писал немецкий писатель Эрих Мюллер.

* * *

Чуткую утреннюю тишину нарушил стук кованых сапог. Он поднимался снизу по гулким чугунным ступеням, затем по гофрированному железу открытых галерей, опоясывающих камеры... Надзиратели, обутые в мягкие войлочные туфли, ходили не так. Так – грубо, нагло, не таясь – могли идти только стражники, сопровождавшие осужденных на казнь.

Заключенные молча прислушивались: пронесет, не пронесет? На этот раз не пронесло. Шаги остановились как раз напротив их камеры. Лязгнули ключи. Медленно, с раздирающим душу скрежетом раскрылась плохо смазанная дверь...

В камеру вошли двое военных, вооруженных и «не очень любезных», как писал позднее в письмах ко мне Р. Ланфредини. Зачитав по списку имена троих татар, они приказали им быстро одеться. Когда те спросили: «Зачем? Куда?», стражники ответили, что не знают

ничего. Но заключенные, как пишет Ланфредини, сразу поняли, что их час пробил.

Прикрикнув для порядка: «Шнель! Шнель!» («Быстро! Быстро!»), стражники направились в следующую камеру. А заключенные стали прощаться друг с другом. «Мы обнялись, как друзья, которые знают, что больше никогда не увидятся».

В коридоре слышались шаги, возбужденные голоса, покрикивания охранников. Снова распахнулась дверь камеры, и Ланфредини увидел среди группы осужденных Мусу. Джалиль тоже заметил Ланфредини и приветствовал его «своим обычным «салям». Примечательно, что итальянец на всю жизнь запомнил это татарское приветствие. Проходя мимо Ланфредини, один из его новых друзей (кажется, это был Симаев) порывисто обнял его и сказал: «Ты так боялся умереть. А теперь мы идем умирать...»

Дверь с лязгом захлопнулась. Ланфредини остался в камере один. Расстояние между Шпандау и Плётцензее небольшое, каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут на машине. Но для осужденных этот путь занял около двух часов. Во всяком случае, в регистрационных карточках тюрьмы Плётцензее их прибытие отмечено в восемь утра. До нас дошли только две карточки: А. Симаева и Г. Шабаева. Но по ним можно судить о содержании остальных. Вот что написано на одной из них:

«Тюрьма Плётцензее в Берлине. Имя, фамилия – Ахмед Симаев. Номер карточки – 827(44), у Г. Шабаева – 828(44). Дата рождения – 28.12.1915. Место рождения – Краснослободск (Россия). Профессия – журналист и татарский легионер (у Г. Шабаева – просто «легионер»). Помещен в блок № 4. Прибыл 25.8.1944 г. в 8 час. из военной тюрьмы Шпандау. Исполнительный орган и номер дела – РКА-П-343(43), у Г. Шабаева указан тот же номер, из чего следует, что они проходили по одному делу. Преступление – подрывная деятельность. Приговор – смертная казнь. Пе-

чать Генерального прокурора г. Берлина. Подпись зав. канцелярией».

Карточка эта примечательна тем, что дает возможность уяснить параграф обвинения – «Подрывная деятельность». Судя по другим документам, это расшифровывалось так: «подрывная деятельность по моральному разложению немецких войск». Параграф, по которому фашистская Фемида не знала никакого снисхождения...

Зная номер дела и время вынесения приговора (12 февраля 1944 года), можно было бы разыскать и сами судебные дела, хранящиеся в архиве Второго имперского суда в г. Дрездене. К сожалению, эти архивы погибли во время бомбежек.

Помощник надзирателя Пауль Дюррхауер, сопровождавший осужденных в последний путь, с удивлением рассказывал впоследствии, что татары держали себя с поразительной стойкостью и достоинством. На его глазах ежедневно совершались десятки, сотни казней. Он уже привык к крикам и проклятиям, не удивлялся, если в последнюю минуту начинали молиться богу или теряли сознание от страха... Но ему еще не приходилось видеть, чтобы люди шли на место казни с гордо поднятой головой и пели при этом какую-то азиатскую песню.

Первым под нож гильотины поволокли учителя Гайнана Курмаша. Следом – экономиста-товароведа из Таджикистана Фуата Сайфельмулюкова.

Затем двух ближайших друзей Мусы – Абдуллу Алиша и Фуата Булатова. Мусу Джалиля казнили пятым, в 12 часов 18 минут.

Высказывалось предположение, что фашистские палачи сделали это сознательно, чтобы Муса, видя гибель друзей, до конца осознал весь ужас смерти. Да, такие случаи бывали, но лишь как исключение. В данном же случае, скорее всего, казни проводились соглас-

но твердо установленному правилу – в том порядке, в каком имена значились в обвинительном заключении.

«Я помню еще поэта Мусу Джалиля. Я посещал его как католический священник, приносил ему для чтения книги Гёте и научился ценить его как спокойного, благородного человека. Его товарищи по заключению в военной тюрьме Шпандау очень уважали его... Как рассказал мне Джалиль, он был приговорен к смертной казни за то, что печатал и распространял воззвания, в которых призывал своих земляков не сражаться против русских солдат» (из письма Г. Юрытко немецкому писателю Л. Небенцалю).

Впоследствии с Г.Юрытко встретился поэт Шайхи Маннур, приезжавший в Западный Берлин. При личной беседе священник так отозвался о поэте: «Умный, приветливый, воспитанный, высокообразованный и, несмотря на ожидание близкой смерти, державший себя очень спокойно, он оставил у меня чрезвычайно хорошее впечатление».

На вопрос о том, какие книги он приносил поэту и не сохранились ли они, священник ответил мне письмом от 12.12.67 г., где уточнил, что приносил в камеру Джалиля около тридцати книг из своей личной библиотеки. Названий их он уже не помнил, запомнил только «Фауста» Гёте, которого приносил «по личной просьбе русских» (так он называл татар). К сожалению, эти книги у него не сохранились.

Еще одна подробность. Во время последней встречи Джалиль рассказал ему свой последний сон. «Ему приснилось, будто он стоит один на большой сцене, а вокруг него все было черно – и стены, и вещи». Сон зловещий и потрясающий своей правдивостью. Да, Джалиль оказался на сцене истории лицом к лицу с фашизмом. Все вокруг него было черно. И тем большего уважения заслуживает то беспримерное мужество, с каким он встретил свой смертный час...